

Опять над полем

Куликовым
Взошла и расточилась жгла,
И, словно облаком

суровым,
Грядущий день
заволокла.

А. БЛОК.

Весь день то дождь хлестал, то снег, небо в непривычной для меня степной стороне, ничем не поддерживаемое, сходилось с землей совсем близко, и в серой мгле трудно было что-то рассмотреть. Мы ехали с юга, откуда пришла и куда бежала орда: у Красной Мечи, доколе гнали их русские ратники, мы остановились и долго глядели на темную воду и на берега, спрашивая, помнят ли, ведут они славу свою или нет. Но изрытые, истерзанные машинами берега едва ли что помнили... И мы поехали дальше, в сердце этой славы и памяти, куда с самого начала и правила, для чего и затеяли эту поездку.

И то, что получилась она с обходом, с порядочным кругом, вышло даже хорошо: в старых русских городках, прежде громких, собиравших удачей и надеждой и для последующей памяти, в городах, напоминающих в долгом и трудном пути русской судьбыны стоптанные башмаки со сверкающими новыми набойками, мы подворачивали к часовенкам и камням над братскими могилами, останавливались перед досками с великими именами и заходили в открытые, работающие музеи: все эти дни мы словно бы проходили необходимым душевную подготовку, или, лучше сказать, посвящение перед главной встречей, чтобы позволить нам за кратким сегодняшним мигом и верхним слоем земли увидеть и почувствовать нечто большее, чем могут вместить обычные впечатления. И уж, кажется, на подъезде изнемогли мы от увиденного и услышанного, не в силах сразу отделить, чем можно гордиться и чего нужно стыдиться.

После обеда даже и не ссая, а темная мгла стала наваливаться с неба, заставляя нас то и дело взглядывать на часы. Встречные машины прошмыгивали с зажженными фарами, белый свет сомкнулся и был забит мокрым снегом, придорожные деревни напыливали как-то непрочной и случайно, точно их подбивало непогодьем. Но часу в шестом, когда и без того вот-вот натянутся сумеркам и когда мы готовы уже были смириться, что нет, не успеть при свете, вдруг... не подозревая в этой картине придуманной для красного словца, в лад блоковским строкам, символически, я пишу, как было, хотя в прежние времена она, вечерняя эта картина, во всем ее продолжении наверняка была бы принята за великое знамение. Едва свернули мы с богородицкой трактовой дороги вправо к полю Куликову, как снег прекратился, и произошло это действительно вдруг, в один миг, сразу за поворотом: желтая чужинная тьма неба в том месте, где заходит солнце, также вдруг потянулась, зашевелилась, и сквозь нее проступило желанное обещание, легонько засветившее степь: так уж и быть, ради вас, потому что вы издалека, попробую...

Я искал впереди глазами шпиль-памятник, о котором был слышан и который заранее показал бы поле, и не сразу заметил, что и пашня по обе стороны от дороги, и успевший за вечер задержаться на ней снег, и редкие дальние перелески, и вся обобщаемая огромная степь закружились и поплыли уже и не от нашего движения, а от какой-то иной силы. Я взглянул на закат — за пять минут там чудом успела обнажиться полоса чистого неба, которая прямо на глазах все расширялась и расширялась, вздымая над собой черноту, и на глазах же оживала и наливалась алошью.

А тут и шпиль показался, вернее, прежде крест, поднимающийся от земли, и одновременно чуть правей еще кресты — эти, как я догадался, над храмом-памятником Сергея Радонежского, благословившего князя Дмитрия на великую битву и немало сделавшего для объединения русских сил под его началом. И покуда подвезжали мы смиренно, сбросив скорость, чтобы лучше видеть открывающееся поле, кресты вырастали все выше и выше, и вот уже под левым, одиночным, обозначился темный столб, а под правыми, как три васнецовских богатыря, встало в рост трехчастное здание храма.

Было отчего ошеломленно замереть и забыть на минуту о памятниках, когда мы вышли из машины: казалось, это могло быть только здесь, над полем Куликовым, и, казалось, выступив из недр веков, являло оно не случайный смысл. В полгрозонта полыхал закат, да не солнцем, нет, а словно бы его растекшимся во всю ширь освободившегося неба огнем, набирающимся изнутри, из каляющей горячей горловины; четкую и чистую кровавую раскрасненность этого зарева чертили еще местами дымные полосы из отступающей черноты, но они быстро погружались, тонули и исчезали бесследно в огненной глубине, которая, не усми-

раясь, едва ли не видимыми под тайными взмахами снова наплескивалась на темный берег. И если бы не вечернее время, если бы не сочность и неистовость красок, вполне можно было бы принять это скоро нарастающее зарево за рассвет, выступивший не в свой черед где-нибудь посреди ночи, — так мощно и грозно, продолжая с путающим мерцанием накаливаться, нависли друг против друга над степью красная и черная стороны.

И как было предку нашему при виде столь дивного и жуткого зрелища не пасть на колени и не просить у неба защиты — да если случилось оно еще в канун его судьбы?

По одним источникам больше ста тысяч, по дру-

ганию вот-вот, казалось, возникнут в ней горящие памятные знаки, показывающие, где и что было. К юбилею, надо думать, их поставят. То будут рукотворные знаки. Один из них отметит примерное хотя бы место схватки Пересвета с Челубеем.

Битва, как известно, началась с их поединка. Принято было в старину: перед тем, как войскам всей силой сойтись на кровавую сечу, устраивать единоборство избранных, выдающихся по силе и духу бойцов — одолевший, считалось, предрекал победу своей стороне. Вызов татарского мурзы, который был «велик и страшен зело», принял троицкий монах из брянских бояр Александр Пересвет. Разогнав друг против друга, коней, сшиб-

тамыш, спустя два года после Куликовской битвы, двинулся на Москву, защищать ее, в сущности, было некому. Тохтамыш сжег Москву (князь Дмитрий в ту пору собирал в Костроме ополчение) и перебил ее жителей, но тут же, боясь Дмитрия, вынужден был отступить. Владычеству орды подходил конец. И хоть полное освобождение от татаро-монгольского ига свершилось лишь через сто лет, это была уже обессиленная и обесславленная власть, с которой русские князья считались мало.

На поле Куликовом Русь отстояла себя. И не только, кстати, себя. И непокорным своим рабством, и окончательной победой она преградила завоевателям дорогу в Европу.

знательного потомства» или переворачивающими заново отлитые тумбы.

Мы ночевали на Поле. Легли вповалку на полу в служебной комнате Андрея Анисимовича и долго говорили... В обыденности об этом всем нам приходится размышлять не часто: нужны особенные, проникновенные и располагающие моменты, чтобы не умом рассуждать, а сердцем и памятью чувствовать и понимать то вечное и вечное изначальное, из плоти и духа чего мы, в сущности, состоим и всякое обращение, всякое чувство к чему считаем тем не менее из какой-то внушенной нам ложной стыдливости высокопарным или излишним. Мы говорили о России, о Родине нашей, и судьбах ее, прошедших и грядущих... И где, как не здесь, на поле Куликовом, было об этом говорить.

...Среди ночи я вышел на улицу. Небо сияло в такой оглушительной и яркой звездной красоте, что нельзя уже было поверить в сырой и ненастный вчерашний день. Деревни вокруг Поля, напротив, пригасли, редкие огоньки в них были слабыми и казались звездными отблесками. Степь, ровно и таинственно освещенная небом, лежала в размытом мерцании. Было тихо, но ночная тишина имеет немало значений — так и теперь: поднимешь голову вверх — слышишь многоголосый и свободный, праздничный и буйно творимый звездами звон, когда легко различить при взгляде на нее звук каждой звезды в отдельности; а опустив глаза, глянешь понизу в степную даль — и безмолвие, сон, покой. Но стоит задержать внимание на степи подольше, и просыпается, организуется, начинает звучать жизнь.

Только небо и степь. Только вставшие друг против друга небо и степь, ведущие давнюю и уж, конечно, не бессмысленную борьбу ли, игру ли — больше ничего. Больше ничего вокруг. И не понять, не рассудить, небу или земле принадлежат памятники поля Куликова, повисшие, кажется, в воздухе и пытающиеся, кажется, соединить то и другое.

Я прошел мимо храма, заметив, что Орион словно бы присел на вознесенный крест и по липовой, безжизненной сейчас аллее поднялся на Красный Холм к памятнику. Удивительно, как быстро и незаметно, будто разделяют они с нами одну беспокойную страсть, подхватывают эти старые рукотворные памятники в честь вождей Куликовской битвы твое слабое, едва теплящееся чувство и, оживив и наполнив его, надракуют редкой способностью внимать тому, что не имеет твердой плоти и живого гласа. И снова, кажется, слышишь в ночи глухую поступь сотен и тысяч коней, различаешь, напрягшись, скрытое движение, чувствуешь, как замерла в тревоге и напряжении степь, и только после уж, завершая картину, всплывают блоковские слова:

Мы, сам друг,
над степью
в полночь стали:
Не вернувшись,
не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди
кричали,
И опять, опять они
кричат...

Снова тишина. Приходится сильно напрягаться, чтобы в волнении воздуха не столько услышать, сколько угадать сухие и колеблющиеся, перебивающие друг друга голоса... Что они говорят, понять не дано: чувствуешь лишь в их разноголосии то тревогу, то молитву, то надежду.

Небо и степь. Степь и небо. Небо над этой степью знает великую тайну: оно было могучим вышним свидетелем битвы и победы, затем многовекового терпеливого ожидания, и оно стало, наконец, свидетелем пробуждающейся памяти...

Нет, и шестьсот лет спустя, ответственность наша за поле Куликова и за все то, что символизирует оно собой в России, не ослабла, как не ослабла и не затмилась слава поля Куликова. Теперь эту ответственность и славу взяли на себя советские люди.

...Но что, что же все-таки теплут они, эти невнятные, точно полустлевшие, голоса, витающие над Полем, что хотя бы подсказать и чему научить?

Степь и небо. Небо и степь. Так много, очевидно, ясных ответов там и там, да не для нас, чтобы свою судьбу мы сполна прошли сами. Вспомнил опять Влока, сказавший о Куликовской битве: «Таким событиям суждено возвращение».

Он был великим поэтом. Будем надеяться, что он окажется неудачным пророчеством. Нам достанет уже обреченности...

К 600-летию битвы на поле Куликовом

Валентин
РАСПУТИН

ЗА НЕПРЯДВОЙ ЛЕБЕДИ КРИЧАЛИ

гим — двести пятьдесят, а по третьим — четыреста тысяч войска выступило на защиту русской земли и русской чести. У Мамай вместе с наемной генуэзской пехотой набралось еще больше. Как раз в той стороне, где горит закат, и выстроилась в переломный для нашей истории день 8 сентября 1380 года, перейдя ночью Дон, сила Дмитрия. Татары, поджидая на подмогу Ягайлу Литовского и Олега Рязанского, огромным шумным лагерем бурлили там, откуда мы сейчас осматриваем Поле.

Андрей Анисимович Родиончиков, младший научный сотрудник филиала Тульского краеведческого музея, ведет нас по аллее на самую высокую точку Поля, на знаменитый, увенчанный ныне памятником Дмитрию Донскому, Красный Холм. Здесь, по преданию, находилась ставка хана Мамай, отсюда он в окружении пяти своих князьков руководил боем.

С того места, где скоро будет смотровой площадке на краю холма, Родиончиков показывает нам расположение русских войск. Говорит он негромко и немногословно, будто принимая нас за бывалых, знакомых с этой битвой людей, которым нужно только напомнить, подсказать ее общую картину, возможно, несколько стертую в нашей памяти за давностью лет.

Утром, 8 сентября пал сильный туман. Перевезшись ночью «за Дон в поле чисто, в ордынскую землю на усть Непрядвы-реки», Дмитрий останавливался близ нынешней деревни Моначыцы и повелел своим полкам готовиться к сечи. Полк правой руки занял позицию во-он там, перед деревней Куликовкой (деревни, разумеется, насели позже, а тогда было «поле чисто», и полк правой руки расположился близ обрывистого правого берега Нижнего Дубика, речки, ныне высохшей, русло которой едва показывают лощина и овраги); полк левой руки — за речкой Смолкой, тоже высохшей, неподалеку от впадения Непрядвы в Дон, а в центре, как главная, основная сила, большой и передовой полк, за ними на случай неудачи — резервный полк. Эти перед деревней Хворостянской. Но был еще и решивший затем исход битвы засадный полк, который прятался до поры в Зеленой дубраве за Смолкой — «во-он там, где березовые посадки», — показывает вправо, в сторону Дона Андрей Анисимович, постепенно увлекаясь, подержанный нашей сообразительностью и пониманием, — точно и в самом деле, одолев наконец тяжесть времени, отзывалась память...

Удивительно все-таки здесь, на месте события, ощущение близости и очевидности всего, что происходило в тот день. Совсем, кажется, тонкая, да и то полупрозрачная, пропускающая давний свет, пленка и отделяет его, чуть смазывая знакомые черты, от нас... и до того, что невольно обращаешься: а не в нас ли, по старинному поверью, переселились души polegших здесь?... Не оттого ли и званы мы сюда за сотни и тысячи верст, да так, что не стало сил откладывать? Не нам ли грядет судьба выйти на поле Куликова, чтобы снова отстоять русскую землю и русскую кровь? Не потому ли столь легко стираются сегодняшние приметы, и вместо распахнутой черной степи послушно видится играющий под ветром ковыль, не пересохли, водой текут речки Нижний Дубик и Смолка, по-прежнему жива Зеленоя дубрава, полноводнее, шире Непрядва и Дон, которыми мы решительно прикрывались, отказавшись тем самым от возможности отступления, — или победа, или смерть?

Закат между тем уже затмевался, догорал, и небо, волюно осияв родную нам сторону, потихоньку угасало. Потонул с открытых просторов холодный ветер, в деревьях, что низко и смутно темнели возле рек, мелькнули огоньки, замутилась степь, и по какому-то неверному ожи-

лись они на виду у многих тысяч и «спадша на землю мертвы и ту конец приша оба».

И грянула сеча, «какой (по «Истории России» С. М. Соловьева) еще никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на пространстве десяти верст, лошади не могли ступать по трупам, ратники гнобились под конскими копытами, задыхались от тесноты. Пешая русская рать уже лежала, как скошенное сено, и татары начали одолевать».

Князь Дмитрий, которому тогда было тридцать лет, оставил под своим великокняжеским стягом Михаила Бренка (погиб любимец Дмитрия), а сам в доспехах простого воина дрался в передовом полку, в пешей рати. Татары смяли ее, прорвали севозь ряды большого полка, завернули левый фланг русских войск и стали сбрасывать его в Непрядву.

...Мы подъехали после к Непрядве — под высоким, крутым до сих пор берегом, куда скатывались воины полка левой руки, течет совсем невеликая, по нашим сибирским понятиям, полусонная речка. Меня удивило, что и Дон, Дон-батюшка, Дон Иванович, как величают его, в месте переправы не шире каких-нибудь тридцати — сорока метров. Да ведь история и слава не метры считают, не ведают память. Помнить же Непрядве и Дону есть, ох, есть что! И когда в сумерках стояли мы над их берегом, только слабость нашего слуха не дала разобрать сухой, веками живущий здесь, как и над всем Полем, свидетельский шепот.

Исход боя повернул в свою пользу скрытый в Зеленой дубраве засадный полк под командованием двоюродного брата Дмитрия, князя Владимира Андреевича Серпуховского и московского воеводы Дмитрия Боброка. Народная память, выделяя Боброка, называет его «решителем» битвы — и не только за отвагу, но и за полководческую мудрость. Немало труда стоило ему сдерживать нетерпение князя Владимира и рвущихся в бой воинов, которые хорошо видели из-за деревьев, как гибнут их товарищи, и лишь когда враги, подхлестывая себя победными кликами, сместились вправо, когда, по преданию, ветер, дувший до того в лицо русским, повернул в обратную сторону. Боброк дал на конец команду: «Час прииде, братья!». Горячая свежая сила ударила сбоку и в тыл рвущимся к Непрядве и Дону татарам столь неожиданно, обрушилась на них с такой стремительностью и яростью, что, ужаснувшись и не выдержав, они «борзо вспять отступили».

Сорок верст до Красной Мечи, как упоминалось, гнали их русские, а, воротившись, «князь Владимир Андреевич стал на костях и велел трубить в трубы», сызвая живых. До немногих достали те победные звуки. С трудом отыскали распахнутое без сознания под срубленным деревом великого князя Дмитрия. «Страшно и горестно, братья, было смотреть: лежат трупы христианские как сение стога у Дона великого на берегу, а Дона река три дни кровью текла». Тот же источник, который называет число пришедших на битву — 400 тысяч, называет и число уцелевших — 40 тысяч, и, сомневаясь даже в подлинности первой цифры, мы не можем сомневаться в этом страшном соотношении: только каждый десятый или каждый девятый остался в живых.

Восьмь дней, снося павших в братскую могилу, продолжались похороны. На месте захоронения срубили воины из деревьев Зеленой дубравы часовню (а многие города и княжества повезли погибших в родные земли), на месте часовни стоит с середины прошлого века в деревне Моначыцыне каменная церковь, в которой за оставшееся до юбилея время предстоит провести все реставрационные работы.

Тяжело досталась русскому народу эта победа. Когда новый правитель орды Тох-

Русь, как известно, началась не с поля Куликова, но полем Куликовым она была направлена и определена. С этого момента началась ее новая история, в которой много будет великого, в том числе жестокого и темного, но никогда не будет рабства. С поля Куликова пробил новый час России. С этого момента начинается ее национальное, государственное и культурное утверждение.

...Что теперь на поле Куликовом? Как увековечен великий ратный подвиг русского народа, что представляет из себя место битвы, какие ведутся приготовления к юбилею? Скоро минет шесть веков с той поры, как умолила здесь сеча... Шесть веков!

Много воды утекло за шестьсот лет — так много, что одни речки на месте Куликовской битвы высохли совсем, оставив нам на память свои названия, другие обмелели и зачали. Там, где было «дикое поле» и шумел камыш, простирается ныне всюдю, куда ни взгляни, распаханная степь. Здесь, на поле Куликовом, сходятся границы трех районов Тульской области. Рядом, за Доном, начинается Рязанщина.

Благородна служба ратной земли — поднимать хлеба, но, надо надеяться, что хотя бы в год юбилея огромное российское хлебное поле возьмет на себя долю нескольких десятков гектаров поля Куликова и даст ему отдохнуть на лето от трудовой повинности, чтобы люди, приехав поклониться этой земле, могли подойти не только к месту переправы Дмитрия через Дон или к примерному месту схватки Пересвета с Челубеем, а и просто пройтись без помех по Полю и, уединившись, почувствовать, услышать в глубине под ногами связь свою с тем, что, став этой землей ради нас, ушло в тихую всевидящую вечность. А что соберутся здесь десятки тысяч людей со всех концов страны, сомневаться не приходится.

На Красном (красивом, по старинному) Холме, самой высокой точке Поля, откуда, как упоминалось, Мамай руководил своим войском, стоит с 1850 года памятник Дмитрию Донскому (работа архитектора А. П. Брюллова). На 28 метров поднимается ввысь величественная пятиярусная колонна чужинного литья, увенчанная золотой главой с крестом. Нижний, самый вместительный, ярус украшен воинскими доспехами — мечами, копытами, шлемами, щитами, с помощью которых была добыта победа. Здесь же, в нижнем ярусе, надпись: «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому признательное потомство».

Неподалеку, метрах в трехстах, в южную сторону от вершины Красного Холма, другой памятник — храм Сергея Радонежского. Интересно, что, заложенный 8 сентября 1910 года, он был закончен уже после революции, в 1918 году, и строился по проекту знаменитого А. В. Шусева, впоследствии автора Мавзолея В. И. Ленина и первых станций Московского метрополитена.

Поздней осенью 1941 года на подступах к полю Куликову шли бои. Советские воины не позволили фашистам ступить на Поле и оккупировать тем самым его славу.

Сейчас памятники Поля, за исключением, как упоминалось уже, церкви в Моначыцыне, полностью восстановлены. Реставрация храма Сергея Радонежского потребовала почти десяти лет. Теперь здесь филиал краеведческого музея, экспонаты и выставки которого рассказывают о Куликовской битве.

И все же, все же... Андрей Анисимович Родиончиков, не удержавшись, с грустью пожаловался нам, что ему, научному работнику музея, немало времени приходится терять на сторожевую службу: то гоняться за машинами, которые, не глядя на запрещающие знаки, мчат прямо к памятнику Дмитрию Донскому, то вступать в схватку с юнцами, сбивающими с него буквы от «при-